

ХЕЛЬГА ГЕМ

СЛОМАННАЯ НИЧЬЯ

Иногда единственный выход —
перестать играть по чужим правилам.



Хельга Гем

Сломанная ничья

<https://litres.ru/74053813>

SelfPub; 2026

Аннотация

В каменно-медном порту, где архивы шепчут струями тёплых чернил, живёт одинокий архивариус Леонард Грей — холодный аналитик, чьи расчёты пытаются удержать память мира от расползания. Пророчица Ши приносит ему весть о древней Игре, где шахматные ходы переписывают реальность, а записи начинают требовать платы человеческой жизнью. Столкновение логики и веры запускает цепь, что рушит привычные опоры города.

Чем дальше они копают в хрониках, тем громче тикают правила, и каждая найденная строка требует жертвы, меняя то, что люди готовы помнить. Смогут ли они поставить мат тем, кто веками контролирует память мира, не расплатившись самими собой — или цена окажется выше, чем кто-либо готов принять?

Содержание

Глава 1. Сломанная ничья: союз, выкованный во тьме архива	4
Глава 2. Дрожь в стеклянных сосудах: когда исследование становится ересью	24
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Хельга Гем

Сломанная ничья

Глава 1. Сломанная ничья: союз, выкованный во тьме архива

Ночь оседала на портовый город слоем холодной золы. В подземном архиве, на три яруса ниже общественных залов, Леонард Грей вел пальцем вдоль края фолианта. Кончик указательного скользил с религиозной осторожностью по шершавой коже переплета, помеченного расплывшимся пятном чернил и единственным словом: «Разлом».

Под этим словом, выведенным дрожащей — от старости или страха — рукой, тянулись три шахматных хода. А дальше — ничего. Белая пустота. Страница исчезала, будто сама летопись в ужасе забыла, что было потом, или кто-то вырвал воспоминание прямо из ее материальной плоти.

Девять лет в этих подземельях. Столько нужно, чтобы стены хранилища проросли внутрь архивиста, чтобы каждый скрип полка, каждый запах консервирующих масел, въевшийся в кожу переплетов, стали частью его самого.

Воздух в хранилище был холодным и плотным, как вода на глубине. Пахло кожей, уксусом консервирующих соста-

вов и той особенной пылью, что скапливается только в местах, куда не заглядывает солнце. Где-то наверху, за тремя ярусами камня и стали, город жил своей жизнью — скрипели краны в порту, перекликались рабочие в доках, гудели машины Конклава, — но сюда не долетало ни звука. Только скрип полок: дерево и латунь переговаривались о чем-то своем, древнем.

Лео знал этот язык. Знал, как стонет латунь на двадцать третьем стеллаже, если на него не так опереться. Знал, чем пахнет масло 1897 года — застарелой горечью и пылью — в отличие от вязкого, сладковатого духа смеси 1923-го. Знал точное усилие в семь унций, с которым нужно перевернуть хрупкую страницу, чтобы не разорвать ее. Ровно столько весит любовь к бумаге, когда обращаешься с ней как с живым существом.

«Точность — это милосердие», — скрипел в памяти голос Эдрема, его наставника. Милосердие к текстам, в которых заперты голоса безымянных мертвецов. Милосердие к истории, ибо неряшливость убивает не бумагу — она убивает возможность будущего понимания. Лео сделал это правило своей религией.

Но сегодня ночью что-то шло не так.

Свеча мигнула. Хранилище было герметично — никаких сквозняков. В латунном креплении что-то коротко заскрежетало, шестерня о шестерню. Лео бросил взгляд на карманный хронометр — подарок Эдрема, показывающий не часы,

а пульс архива: влажность 43%, температура 51°F, вентиляция завершила пятнадцать минут цикла. Всё было в идеальном порядке.

И тут начался этот звук.

Сначала Лео списал его на обычную симфонию стареющего здания — вздохи кирпича, стон остывающих медных труб. Но звук нарастал, обретал плоть: методичный скрежет, как ногти по металлу. Ритмичный, словно пульс механического сердца. Он шел из-за восточной стены, там, где внутренности архива граничили со старыми городскими туннелями, давно заброшенными и не поддерживаемыми никем, кроме крыс и забытых легенд.

Лео закрыл фолиант, дав страницам самим улечься в правильном порядке. Медленно поднялся, позволяя телу привыкнуть к холоду после часов оцепенения. Рука потянулась к латунному светильнику на стене, и газовое пламя вспыхнуло с резким механическим щелчком. Яркий свет отбросил тени в щели между полками, высветил бесконечные ряды кожаных корешков, уходящие вверх, в непроглядную тьму.

Он не увидел ее сразу. Он услышал — тихое, почти неслышное дыхание, чужое в этом пространстве, где годами дышал только он. А потом почувствовал — тепло, живое тепло, чужеродное в холоде хранилища. И лишь потом, подняв лампу выше, разглядел фигуру.

Она выступила из мрака не сразу, будто тьма нехотя разжала пальцы, отпуская добычу.

Невысокая, чуть за двадцать, хотя в этом полумраке возраст терял смысл. Волосы спутаны ветром — значит, она пришла не из соседнего зала, а откуда-то извне. Но внимание Лео приковали руки: пальцы с намертво въевшимися чернилами — та самая «хроникальная грязь», которую не смыть ничем, клеймо отверженного писца. На запястьях тонкие, старые шрамы — следы долгой работы с чем-то шершавым и острым.

Но главное — ее глаза. Она не смотрела. Она вслушивалась. У нее был взгляд человека, для которого звук — первичная реальность, а изображение — лишь его бледная тень.

— *Ты неправильно это читаешь,* — сказала она.

Голос нес легкое эхо — так говорят люди, привыкшие к каменным колодцам архивных залов, подстраивая дыхание под акустику тишины.

Первый инстинкт Лео — тревога, протокол, стража. Но разум, работающий быстрее инстинкта, отметил детали: она не заблудилась здесь, она шла целенаправленно. Акцент выдавал уроженку рабочих кварталов, где чернильные фабрики дымят, не переставая. А главное — она смотрела на фолиант с жадным узнаванием, а не с праздным любопытством.

— *Сломанная ничья,* — произнес Лео, пробуя слова, как пробуют на излом старый пергамент.

— *Ты можешь это прочитать?*

— *Не читать,* — поправила она, приближаясь с той особой плавной походкой, которая не поднимает пыли и не тре-

ВОЖИТ ВОЗДУХ.

— *Слушать. Эти ходы — как ноты. Но записанные кем-то глухим к собственной музыке.*

Она потянулась к фолианту, и рука Лео дернулась перехватить ее запястье. Их пальцы замерли в дюйме над пожелтевшей страницей. Он увидел мозоли на ее ладони — следы многолетней тяжелой работы, чернильные пятна, въевшиеся в кожу. И дрожь. Она дрожала. От страха? Или от того, что само ее присутствие здесь было запретным, противозаконным актом?

— *Кто ты?* — спросил Лео, и в его голосе власть боролась с растерянностью.

— *Тот, кто слышит то, что ты читаешь,* — она не отдернула руку, но и не опустила.

— *Меня зовут Ши. Мне нужно понять это до того, как проснутся фабрики. До того, как машины Конклава засекут возмущение.*

«Возмущение». Это слово заставило Лео вспомнить то, что он старательно отодвигал на задворки сознания. Колебания чернил, о которых шептались на прошлой неделе старшие архивисты. Странное мерцание текста в читальных залах, когда буквы исчезали и появлялись вновь по необъяснимым законам. И натянутое молчание таких, как Эдрем, когда речь заходила об аномалиях. Молчание, за которым стоял приказ сверху.

— *Какое возмущение?* — спросил он, хотя ответ уже скла-

дывался у него в голове.

Вместо ответа Ши подошла к светильнику и поднесла ладонь к пламени — не опалая, но ощущая жар, будто огонь мог нашептать ей то, что текст не говорил.

— *Хроника зовет,* — сказала она. — *Она хочет быть прочитанной тем, кто понимает, что шахматы и музыка — один язык. Только записанный по-другому.*

И она запела.

Низкий, гортанный звук. Он содержал в себе ритм шахматных часов — безжалостное тиканье турнирного отсчета, — сплетенный с шепотком заклинаний, какие бормочут в подпольных игровых клубах, где рабочие ставят на кон свое будущее. Акустика хранилища, спроектированная для сохранения голосов истории, подхватила мелодию, усилила, заполнила ею каждый угол.

Дыхание Лео застыло в груди. Он понял, что его рациональность, его точность, его девятилетний опыт — всё это лишь жалкий словарь, которым не описать того, что пытался сказать фолиант.

— *Останься,* — выдохнул он. Это не было приказом. Это была мольба. — *Покажи мне.*

Она оборвала мелодию на полутоне и посмотрела на него. Оценивающе. Словно решала, достоин ли он следующей ноты.

— *Это не просто показывают, архивист,* — сказала она.

— *Это либо слышишь, либо нет. Ты уверен, что хочешь*

услышать? Обратной дороги не будет.

Лео выдержал ее взгляд. За девять лет под землей его учили отделять зерна от плевел, истину от шума. И сейчас каждый нерв, каждая клетка его существа кричала, что перед ним — истина. Опасная, запретная, но истина.

— *Покажи,* — повторил он.

Тогда Ши взяла его за руку. Ее пальцы были ледяными и шершавыми, как наждачная бумага. Она прижала его ладонь к открытой странице фолианта — туда, где обрывалась запись, в белую пустоту.

— *Закрой глаза. И слушай не ушами. Слушай кожей.*

Лео подчинился. Сначала он не чувствовал ничего, кроме привычной прохлады старой бумаги под подушечками пальцев. Но затем Ши снова запела — тише, интимнее, словно делилась секретом, — и страница под его ладонью ожила. Он ощутил вибрацию, неслышную, но осязаемую. Как будто в бумаге дремало эхо чьих-то шагов, ударов сердца, голосов. Будто пергамент был не плоским, а слоистым, и между слоями текли реки невысказанных слов.

Лео распахнул глаза. Ши смотрела на него с кривой ухмылкой.

— *Почувствовал?*

— *Это... это невозможно,* — прошептал он, но голос его дрожал не от страха, а от восторга. — *Бумага так не устроена.*

— *Бумага — нет. А хроника — да.* — Она убрала свою

руку, но холод ее пальцев остался на его коже, словно метка.

— *Тот, кто писал это, не просто записывал шахматную партию. Он впалял в чернила заклинание. Каждый ход — это слово. Каждая запись — это узел на нити времени. А мы с тобой — те, кто пытается распутать этот узел.*

Лео снова посмотрел на три хода. Пешка на e4. Пешка на e5. Ферзь на h5.

— *Но это же... детский дебют,* — растерянно произнес он. — *Атака королевского ферзя. Такой ход делают либо новички, либо...*

— *Либо те, кто хочет, чтобы их недооценили,* — закончила за него Ши. — *Ты видишь только фигуры, архивист. А я слышу намерение. Первый ход — не пешка. Это вызов. Второй — не ответ. Это принятие вызова. А третий...*

Она наклонилась над фолиантом, и прядь ее спутанных волос упала на желтую страницу. Лео заметил, что она пахнет дымом. Не табачным — а горьким, промышленным дымом заводских труб.

— *Третий ход — это угроза,* — прошептала она. — *Но не фигурам. Угроза самому мироустройству. Посмотри, куда смотрит ферзь.*

Лео перевел взгляд на схему. Ферзь на h5 нацелен на пешку e5 — стандартное давление в центре. Но потом он заметил то, что упускал раньше. Линия атаки ферзя проходила сквозь само слово «Разлом» на полях фолианта. Чернила, которыми был записан ход, были чуть темнее, чуть гуще, чем

весь остальной текст. И они... мерцали. Едва заметно, на грани восприятия, но мерцали.

— Оно живое, — выдохнул Лео.

— Добро пожаловать в реальность, о которой Конклав предпочитает молчать. — Ши выпрямилась, и свет лампы упал на ее лицо.

— Теперь ты понимаешь, почему мне нужна твоя помощь. Я слышу мелодию, но я не знаю нот. Я не знаю этих твоих... архивных премудростей. Я могу напеть тебе продолжение, но я не могу его записать. А ты можешь. Ты — ключ, Леонард Грей. Ключ, который Конклав выковал сам того не желая.

Она впервые назвала его по имени. Лео почувствовал, как что-то сдвинулось в его груди — не сердце, нет, скорее тот самый внутренний каркас, на котором держалась его личность. Она знала его имя. Она знала, к кому шла.

— Откуда ты знаешь, как меня зовут?

— У меня свои источники. — Она усмехнулась уголком губ.

— В подземельях много говорят. Сплетничают. О призраке архива, который девять лет почти не поднимается на поверхность. О человеке, который умеет читать то, что другие считают нечитаемым. О единственном архивисте, который не продал душу Конклаву за теплое место и пайку.

Лео хотел возразить — сказать, что он не герой, не диссидент, просто человек, который любит свою работу. Но слова

застряли в горле. Потому что глубоко внутри, в том тайном уголке души, куда он сам боялся заглядывать, он знал: она права. Он никогда не верил в догматы Конклава. Он верил в истину. А истина сейчас пела ему в лицо голосом незнакомой девушки из подземных туннелей.

— *Хорошо*, — сказал он, и голос его окреп. — *Показывай свою мелодию. Я буду записывать.*

Они работали до самого рассвета.

Лео притащил из соседних секций справочники — толстенные тома в кожаных переплетах, пахнущие плесенью и временем. Он расстелил их на столе, создав баррикаду из знаний. Шахматная нотация всех зарегистрированных турниров за последние сто лет. Архивные записи о возмущениях чернил. Генеалогические древа магических родов, чьи представители могли вплетать заклинания в материальные носители.

Ши сидела напротив, скрестив ноги прямо на каменном полу. Глаза ее были закрыты, губы беззвучно шевелились — она пробовала мелодию, искала продолжение. Каждые несколько минут она произносила вслух следующий такт, и Лео судорожно переводил ее в шахматную нотацию, сверяясь со справочниками.

Первые полчаса ушли на то, чтобы найти общий язык. Лео требовал точности — координаты клеток, обозначения фигур, стандартную систему записи. Ши лишь пожимала плечами.

— Я не знаю твоих координат. Я слышу движение. Вот здесь звук идет вверх и вправо. Как птица взлетает с ветки. А здесь — падает. Камнем в пропасть. Какие тут координаты?

— Это... конь. Конь на f3. — Лео сверился с ее жестом.

— А падение — это взятие. Чье?

— Не чье, а чего. Звук падает не на фигуру, а на пустоту. Как будто кто-то специально жертвует материалом.

— Гамбит, — прошептал Лео. — Кто-то играет гамбит.

Он схватил карандаш и начал лихорадочно записывать. Конь на f3, пешка берет на e5, слон на c4. С каждой новой нотой, которую напевала Ши, картина прояснялась. Это была не просто партия — это была сложнейшая, многоуровневая композиция, в которой каждый ход нес двойную нагрузку: и шахматную, и магическую.

— Слон выходит на c4, — бормотал Лео, водя карандашом по бумаге. — Классическая итальянская школа. Агрессивное развитие, давление на f7 — самое уязвимое поле черных. Но если это заклинание...

— То давление не на поле, а на разлом, — закончила Ши. — Тот, кто играет белыми, пытается запечатать трещину. А тот, кто черными — расширить.

— Откуда ты это знаешь? — Лео поднял на нее глаза.

Ши помолчала. Потом медленно, словно преодолевая внутреннее сопротивление, закатала рукав своей грубой ру-

бахи. На предплечье, чуть ниже локтя, темнела татуировка — чернильная вязь, изображающая шахматную доску, расколотую пополам.

— *Потому что я — дочь человека, который начал эту партию. Мой отец был летописцем. Тем самым, чью запись оборвали. Конклав посчитал его еретиком. Его труды уничтожили, его имя стерли из архивов, а его самого...* — она запнулась. — *Его самого я не видела с семи лет. Но его мелодия осталась. Она звучит во мне с тех пор, как я себя помню.*

В хранилище повисла тяжелая тишина. Лео смотрел на татуировку, на расколотую доску, и в его голове складывались последние кусочки мозаики. Вот почему Конклав молчал о возмущениях. Вот почему Эдрем отводил глаза, когда речь заходила об аномалиях. Они не просто скрывали правду — они боялись ее. Боялись, что правда вырвется наружу, как пар из перегретого котла.

— *Как звали твоего отца?*

— *Ты не найдешь его имя в своих книгах.* — Она горько усмехнулась. — *Его вымарали отовсюду. Но я помню. Его звали Орлан. Орлан Ткач.*

Лео вздрогнул. Имя было ему знакомо — не из официальных архивов, а из маргиналий, из полустертых пометок на полях старых манускриптов, из шепота старых архивистов, который они позволяли себе только после третьей кружки эля в таверне за пределами Конклава. Орлан Ткач. Человек,

который утверждал, что чернила способны изменять реальность. Что хроники не записывают историю, а формируют ее. Что тот, кто контролирует архив, контролирует прошлое, настоящее и будущее.

Его объявили сумасшедшим. Его труды сожгли. А теперь его дочь сидит здесь, в сердце архива, и напевает мелодию, от которой оживают мертвые буквы.

— *Твой отец записал три хода и был прерван,* — медленно произнес Лео. — *Но ты говоришь, что партия продолжается. Кто ее продолжает?*

— *Я,* — просто ответила Ши. — *И ты.*

Она поднялась с пола и подошла к столу, заваленному фолиантами. Их плечи почти соприкасались. Лео чувствовал исходящий от нее жар — странный, сухой жар, словно внутри нее горела крошечная печь.

— *Три хода — это якорь. Точка отсчета. Дальше начинается импровизация. Мой отец успел записать первые три хода, прежде чем за ним пришли. Но партия не умерла. Она жила в чернилах, в хрониках, в самой ткани архива. Она ждала того, кто сможет ее услышать. Того, кто сможет ее продолжить.*

— *И мы должны закончить партию?*

— *Мы должны понять, зачем она была начата.* — Ши повернулась к нему, и в ее глазах заплясали отблески газового пламени.

— *Мой отец не был безумцем, Леонард. Он нашел что-то.*

Что-то настолько важное, что Конклав готов был убить его, лишь бы сохранить это в тайне. И это «что-то» до сих пор здесь. В этих стенах. В этих чернилах. Оно спит, но оно просыпается.

Снова зазвучала мелодия — на этот раз громче, увереннее. Ши уже не напевала, а пела в полный голос, и хранилище отвечало ей эхом, множило звук, превращало его в хор. Лео лихорадочно записывал, сверялся со справочниками, переводил музыку в координаты. Четвертый ход. Пятый. Шестой. Партия разворачивалась перед ним, как свиток, как живое существо, сбрасывающее кожу.

А потом он заметил, что она дрожит. Не от страха — от холода. Здесь, в архиве, было всего пятьдесят с чем-то градусов по Фаренгейту. Идеально для пергамента, убийственно для живого тела. Без размышлений Лео снял свой архивистский жакет — простой, серый, с глубокими карманами для инструментов — и набросил ей на плечи.

Она вздрогнула, запнулась на полуноте, и мелодия рассыпалась. В хранилище снова стало тихо.

— *Зачем?* — спросила она, и в ее голосе не было благодарности — только недоверие, смешанное с уязвимостью.

— *Замерзнешь,* — коротко ответил Лео.

— *Я привыкла.*

— *Я — нет.*

Они смотрели друг на друга поверх раскрытых фолиантов, поверх шахматных диаграмм и записей, поверх столетий

лжи и запретов. И в этом взгляде было что-то, чего Лео не испытывал очень, очень давно. Человеческое тепло. Не абстрактное сострадание к человечеству, а тепло, направленное на конкретного человека. На нее.

Он первым отвел глаза и снова уткнулся в справочники.

— *Работаем дальше,* — буркнул он. — *У нас мало времени.*

Но что-то между ними уже изменилось.

Они продолжили, и теперь их сотрудничество обрело новый ритм. Ши напевала такт — Лео переводил его в нотацию. Она описывала звуковую текстуру хода — резкий, плавный, колючий, скользящий, — а он подбирал эквивалент на шахматном языке. Иногда они спорили.

— *Это не слон,* — возражала Ши. — *Звук слишком тяжельый для слона. Он не скользит по диагонали, он прет, как бык. Тупой, мощный, прямой.*

— *Ладья?*

— *Нет, ладья звучит иначе. Ладья — это железо. А здесь — камень.*

— *Тогда это не шахматная фигура. В шахматах нет каменных фигур.*

— *Значит, твои шахматы неполны. Может, есть что-то, чего нет в твоих книгах?*

Лео замолчал. Она была права. Если хроника содержала заклинание, то шахматная нотация могла быть лишь внешним слоем, маскировкой. А под ней скрывалась совсем дру-

гая система.

— *Хорошо,* — сказал он. — *Давай попробуем иначе. Не переводить твои звуки в мои фигуры, а записывать и то, и другое параллельно. Музыкальный ряд и шахматный ряд. Посмотрим, где они пересекаются.*

Он достал из кармана чистый лист бумаги и расчертил его пополам. Слева — ноты. Справа — координаты. Ши запела снова, и теперь Лео не пытался подогнать ее мелодию под готовые схемы. Он просто записывал. Ноты — как она их слышит. Ходы — как он их видит. И через какое-то время он начал замечать закономерности, которых не видел раньше. Пересечения. Узлы. Места, где музыка и логика партии сплетались в неразрывное целое.

— *Вот,* — сказал он, обводя карандашом точку на схеме. — *Здесь твой «каменный бык» совпадает с ходом ладьи. Не просто ладьи, а жертвы ладьи. Редчайший тактический прием, когда отдают сильнейшую фигуру ради позиционного преимущества. Если твой отец зашифровал это в чернилах, то...*

— *То он принес какую-то жертву.* — Ее лицо посветлело. — *Он не просто писал партию. Он жил ею. Каждый ход был его реальным действием. Первый ход — вызов. Второй — принятие. Третий — угроза. А четвертый — жертва. Жертва ладьи.*

— *Что он мог пожертвовать?*

Ши опустила глаза. Ее пальцы теребили край его жакета,

все еще накинутого на плечи.

— *Свою жизнь. Он знал, что Конклав придет за ним. Знал, что его запись прервут. Но вместо того, чтобы бежать, он остался. Записал первые три хода, а четвертый... четвертый он не записал, а прожил. Дал себя схватить. Принес себя в жертву, чтобы партия могла продолжаться. Чтобы я могла ее найти.*

В хранилище повисла тишина. Даже газовый светильник, казалось, горел тише, приглушая свое шипение.

Лео смотрел на Ши. На ее спутанные волосы, на вьевшиеся в пальцы чернила, на старую татуировку с расколотой доской. Она была живым продолжением партии. Не просто дочь летописца, а следующим ходом. Тем, ради кого все затевалось.

Он взял карандаш и аккуратно, с той самой точностью в семь унций, записал четвертый ход. Ладья. Жертва. А затем — пауза, белое пятно, как на той странице в фолианте. Потому что пятый ход еще не прозвучал. Партия все еще ждала своего продолжения.

— *Мы найдем остальное,* — сказал Лео, и голос его звучал тверже, чем он сам ожидал. — *Вместе.*

Ши подняла на него глаза. В них стояли слезы — но она не плакала. Она улыбалась. Уголками губ, едва заметно, но это была улыбка.

— *Вместе,* — повторила она.

Близился рассвет. Где-то наверху, за толщей камня и

стали, просыпался город. Заводские гудки начинали свой утренний хор, механизмы Конклава оживали, готовясь перемалывать новую партию хроник. Их время истекало.

— *Мне пора,* — сказала Ши. — *Рассвет близко.*

Она сняла с плеч жакет и протянула его Лео.

— *Оставь себе,* — сказал он. — *В туннелях холоднее, чем здесь.*

Она поколебалась мгновение. Потом кивнула и снова накинула жакет на плечи. Затем сунула руку в карман своей грубой куртки и достала маленький предмет. Белый мелок — из тех, какими в подпольных игровых клубах чертят схемы нелегальных партий на грязных досках.

— *Держи,* — сказала она, кладя мел в ладонь Лео. Пальцы ее задержались на его запястье — на секунду дольше, чем требовалось, — и это маленькое тепло пробрало его до костей вернее, чем весь холод архива за девять лет.

— *Когда я услышу продолжение мелодии, я оставлю метку на восточной стене. А ты... ты попробуй нанести этот ход на доску. Может быть, твои шахматы ответят на то, что моя музыка только шепчет.*

Лео сжал мел в кулаке. Он был теплым — хранил жар ее ладони.

— *Как я узнаю, что это твоя метка?*

— *Узнаешь.* — Она улыбнулась уголками губ. — *Ты же архивист. Ты видишь то, чего не видят другие.*

А затем она растворилась в тени, откуда пришла, — без-

звучно, как чернила впитываются в промокашку. Последним, что увидел Лео, была серая ткань его жакета, уплывающая в черноту туннеля.

Он остался один. В одной руке — незаконченная шахматная запись. В другой — кусочек мела. Ключ и якорь. Вопрос и ответ, которые еще предстояло совместить.

Лео поднес мел к светильнику. На боку проступали слабые отметины — не шахматная нотация, не музыкальный ключ, не архивный шифр. Нечто древнее, личное. Язык, созданный для того, чтобы передать послание под носом у наблюдателей. Он еще не мог его расшифровать, но он признал отметины как значимые. Как ключ.

Он спрятал мел в нагрудный карман, прижав его к груди. Тот лег рядом с сердцем, как вторые часы, отсчитывающие свой, неведомый ритм.

Снаружи надрывались заводские гудки. Где-то в цехах Чернильного Конклава оживали чаны, и живая тьма хроник начинала свой дневной бег по трубам. Но сегодня в этой тьме что-то дрогнуло. Мерцание «Сломанной Ничьей», невозможная нестабильность материи, начало расползаться, как трещина по стеклу. Разлом расширялся.

Лео стоял один в сердце хранилища, ощущая, как впервые за девять лет его мир покачнулся. Порядок вокруг был лишь декорацией, построенной над бездной. И бездна эта медленно открывала глаза.

Он достал из кармана блокнот, раскрыл его — и меха-

нический переплет щелкнул с привычным, успокаивающим звуком. Но сегодня этот звук не принес покоя. Сегодня он прозвучал иначе. Как выстрел стартового пистолета. Как щелчок шахматных часов, запускающих новый отсчет.

Лео обмакнул карандаш в чернила и начал писать. Пятый ход. Сначала — шахматная нотация, которую он вычислил логически. Рядом — музыкальный эквивалент, который он вывел из записей. И под ними — те самые слабые отметины с кусочка мела, перерисованные на бумагу.

Он не знал, правильный ли это ход. Не знал, куда он ведет. Но впервые за долгие годы он чувствовал не просто интерес архивиста. Он чувствовал зов. Тот самый зов, о котором говорила Ши. Мелодия, которая станет Партией.

Рассвет сочился сквозь вентиляционные решетки, бледный и равнодушный. На улицах портового города никто не заметил ни девушку в подземных туннелях, ни архивиста в рубашке, сжимающего во тьме кусок мела. Но в чернилах, в самой жидкой сути истории, что текла по венам города, произошел сдвиг. То, что было забыто и похоронено, начало прогрызать себе путь сквозь стены, возведенные годами и властью.

Разлом не был ошибкой. Разлом был голосом. И он звал. А над портовым городом, где архивист и пророчица узнали друг друга во мраке, разгорался холодный рассвет. Они еще не понимали зова до конца, но оба уже повиновались ему — звуку, рвущемуся из самой плоти реальности.

Глава 2. Дрожь в стеклянных сосудах: когда исследование становится ересью

Три дня после той ночи Лео не мог находиться в тишине. Не в той глубокой, успокаивающей тишине хранилища — к ней он привык за девять лет, с ней сроднился, как с собственным дыханием. А в другой — звонкой, напряженной, какая бывает перед ударом грома. Тишина теперь звучала. Она гудела в ушах, как перетянутая струна, и Лео ловил себя на том, что прислушивается к ней, сам не зная, чего ждет. Шагов? Голоса? Или той мелодии, что Ши напевала в архиве и которая теперь, как заноза, сидела где-то под сердцем?

Экспериментальное крыло располагалось в переоборудованном складе на окраине портового города — там, где дымящиеся трубы фабрик пронзали небо, как иглы, и в воздухе постоянно висел кисловатый привкус химии. Конклав предпочитал, чтобы проверки качества чернил оставались вне поля зрения: подальше от бюрократических лабиринтов центрального здания, подальше от посторонних глаз. Лео это устраивало. Чем дальше от начальства, тем легче дышать. Тем легче делать вид, что он просто тестирует стабильность пигментов, а не пытается понять, почему чернила в пузырьках ведут себя как живые.

Камера встретила его привычным гулом. Медные полки вдоль стен, стеклянные пузырьки в зажимах — каждый с биркой, серийным номером, актом происхождения. Весы, способные уловить отклонение в тысячную долю миллиметра, замерли в ожидании. Анализаторы с вращающимися барабанами — их часовые механизмы тикали не в унисон, создавая сложный, сбивчивый ритм, словно в комнате билось несколько сердец.

Лео задержался у порога, втянул воздух. Озон, горячая медь и что-то еще — едва уловимый запах горелого пера, который всегда появлялся, когда чернила начинали вести себя неправильно. Запах нестабильности. Запах тайны.

Он разложил на столе шесть образцов. Формальный запрос, поданный Эдрему и занесенный в реестры, гласил: *«Исследование стабильности пигментов во временном измерении»*. Технически — правда. Но правда неполная, а значит — ложь. Этот крошечный изъян в этической архитектуре, которую Лео выстраивал девять лет, давил на грудь. Не сильно — так, словно под ребро попала крошка и теперь мешает сделать полный вдох.

Первые четыре образца вели себя как положено. Чернила ложились на бумагу ровно, высыхали в нормативные сроки, не меняли цвета под лампами разной интенсивности. Лео работал методично, как его учили: нанести, зафиксировать, сверить со стандартом. Рука двигалась сама — мышечная память, вбитая тысячами часов архивной практики. Он даже

позволил себе ненадолго поверить, что всё обойдется. Что ночь в архиве была сном, наваждением, случайной встречей без последствий.

Пятый пузырек дрогнул.

Лео замер. Поднес лампу ближе, стараясь дышать ровно. Стекло вибрировало — не сильно, едва заметно, но глаз улавливал рябь, похожую на марево над раскаленным асфальтом. Он проверил температуру: постоянные пятьдесят градусов по Фаренгейту. Проверил крепление: затянуто до упора. Никаких внешних вибраций, никаких сквозняков. Только эта дрожь — мелкая, настойчивая, как пульс.

И мелодия. Он не сразу понял, что слышит ее. Она звучала не в ушах — глубже, где-то в костях, в корнях зубов. Та самая, что напевала Ши в архиве. Та самая, которую он потом не мог забыть, просыпаясь по ночам у себя в комнате и ловя в темноте отзвук, которого не было. Лео поймал себя на том, что беззвучно вторит ей, и от этого открытия по спине пробежал холодок.

Шестой пузырек тоже дрожал.

Он достал из кармана мелок. Маленький, белый, еще хранящий тепло ее пальцев — или это ему только казалось. Он сжал его в кулаке, ощущая шершавую поверхность, и на мгновение прикрыл глаза. Вдох. Выдох. «Точность — милосердие», — прозвучал в голове голос Эдрема. Лео разжал пальцы, сунул мелок обратно в боковой карман и обмакнул перо в дрожащий образец.

Он вывел три хода из «Сломанной Ничьей». Те самые, что она напевала. Пешка на e4. Пешка на e5. Ферзь на h5. Рука обрела прежнюю твердость — мышечная память и годы муштры сделали свое дело, — но внутри все дрожало. Потому что он знал: текст не стабилизируется. Знал еще до того, как буквы начали плыть.

Они поплыли.

Медленно, едва заметно — но неоспоримо. Буквы перегруппировывались в новые конфигурации, замирали на несколько мгновений и возвращались обратно. Цикл повторялся с математической точностью: четыре минуты плюс-минус несколько секунд на полное колебание. Лео записывал наблюдения в блокнот сухим, техническим языком, старательно вытравляя эмоции, но пальцы дрожали, выдавая то, что он пытался спрятать даже от самого себя. Страх? Нет, не совсем. Скорее — благоговение. Он прикоснулся к чему-то, чего не мог объяснить, и это «что-то» прикоснулось к нему в ответ.

Он отложил перо. Провел ладонью по лицу, стирая испарину, и в этом резком движении мелок выскользнул из неглубокого бокового кармана, покатился по столу, затем по полу, оставляя тонкий белый след на металлической поверхности, и замер у ножки стола.

Лео смотрел на этот след, не в силах отвести взгляд. Никакого осмысленного узора — просто случайная линия. Но его разум, натренированный на поиск закономерностей, уже

не верил в случайности. След что-то говорил — не словами, не знаками, а самим фактом своего существования. Он напоминал ход. Еще один ход в партии, которую они начали в ту ночь.

Лео наклонился, поднял мелок с пола и взвесил его на ладони. Крошечный кусочек белого вещества — а в нем, казалось, пульсировала целая вселенная. Он сжал его в кулаке, чувствуя, как острые грани впиваются в кожу, и сунул в нагрудный карман — туда, где мелок лежал все это время, прижатый к сердцу, как вторые часы.

А потом поймал себя на том, что напевает.

Мелодия всплыла из ниоткуда — он никогда не слышал ее прежде, разве что из уст Ши. Но тело помнило. Горло выводило звуки, которых рассудок не знал, и с каждым тактом дрожь в пузырьках усиливалась. Стекло звенело — тонко, пронзительно, — и Лео чувствовал этот звон кожей, затылком, корнями зубов. Мелодия и дрожь резонировали на одной частоте. Они были частью одного целого. Частью чего-то большего, чему он еще не знал имени.

— *Архивист Грей.*

Голос раздался от двери — негромкий, но поставленный так, чтобы заполнить все пространство. Лео обернулся, и мелодия оборвалась на полутакте.

Констебль Васк стоял в дверном проеме с той особой неподвижностью, какая свойственна людям, долго ждавшим в тени. Безупречный мундир, значки Ордена Света, отполи-

рованные до блеска. Никаких резких движений — только текучая, змеиная плавность человека, привыкшего к насилию, как к утренней гимнастике. Его серые глаза обшарили камеру с безразличием оценщика, пришедшего описывать имущество покойника. Лео заметил, что Васк не касается дверного косяка, и понял: констебль вообще старается не прикасаться к вещам без нужды. Брезгливость? Или профессиональная привычка — не оставлять следов?

Он не спрашивал разрешения войти. Просто вошел — и воздух в камере стал холоднее на градус.

— *У вас встревоженный вид, Грей,* — произнес Васк.

Лео выдохнул — медленно, контролируемо, как его учили. Академия вбивала в голову: спокойствие перед лицом власти — первый урок. Эмоциональная сдержанность при допросе создает пространство для маневра. Он отложил перо с нарочитой медлительностью, следя, чтобы ни один мускул на лице не дрогнул.

— *Просто сосредоточен. Провожу тесты стабильности последних партий чернил. Рутинная валидация Архива.*

Васк прошел в камеру — бесшумно, текуче. Его взгляд скользнул по пузырькам, анализаторам, часовым механизмам. Остановился на бумаге, где Лео вывел шахматные ходы. На белом следе от мела, оставшемся на полу. И — на мгновение — на кармане Лео.

— *По чьему разрешению?* — спросил констебль.

Вопрос был прост, но его вес превышал грамматическую

конструкцию. Это был тест на лояльность, и Лео знал это.

— *По моему собственному исследовательскому интересу.* — Он понимал, что ответ звучит как нарушение протокола, но не видел другого пути. — *Аномалии в читальных залах требовали независимого расследования. Как старший каталогизатор, я сохраняю автономное право на внутренние исследования проверки качества чернил.*

Технически — верно. Но ложь сквозила в каждом слове.

Васк это понял мгновенно. Он взял с полки один из дрожащих пузырьков и поднес к свету, медленно поворачивая. Оптическое искажение заплясало на его лице, превращая его в зыбкую маску — на миг констебль перестал быть человеком и стал чем-то иным: не то отражением в кривом зеркале, не то существом из хроник, просочившимся в реальный мир.

Молчание затягивалось. Лео чувствовал, как тикают часы — не на стене, а внутри, где-то в груди. Васк ждал. Орден учил своих офицеров этой технике: тишина как оружие. Подозреваемый сам заполнит пустоту — оправданием, рационализацией, признанием.

— *Эти аномалии,* — наконец произнес Васк тоном официального объявления, — *не должны обсуждаться вне официальных каналов. Конклав определил возмущение как локализованный производственный дефект. Вопрос решается через надлежащие институциональные механизмы.*

— *Но закономерность предполагает...*

— *Архивист Грей.* — Васк поставил пузырек обратно с

намеренной, выверенной осторожностью. Это был не гнев — это была демонстрация контроля. — *Я предлагаю вам вернуться к каталогизации. Ваши исследования зафиксированы. Ваш доступ к конфиденциальным материалам будет пересмотрен.*

Перевода не требовалось. Вы отмечены. Ваши шаги будут отслежены. Ваши сообщения — перехвачены. Вы — угроза, и мы за вами следим.

Констебль покинул камеру так же бесшумно, как вошел. Его отсутствие ударило по ушам громче крика. Лео остался один — с дрожащими пузырьками, с плывущими буквами на бумаге, с тиканьем механизмов, которое теперь звучало как отсчет невидимого таймера. Камера, бывшая местом открытий, стала ловушкой.

Он прижал ладонь к карману, где лежал мелок. Маленький кусочек тепла. Мелодия еще звучала в крови, но теперь к ней примешивалось что-то новое — не страх, нет. Что-то холодное и ясное. Что-то, похожее на первый ход в партии, которую он только начал понимать.

Он сел за стол, раскрыл блокнот и записал — не для отчета, не для Архива, а для себя. Три хода. Четырехминутный цикл. Дрожь, резонирующая с мелодией. И ниже — одинокая строчка: *«Это не дефект. Это структура. Это Партия, и она продолжается».*

Вечером того же дня пришло уведомление от Эдрема.

Краткое, безличное — всего несколько строк на официальном бланке с печатью Архива: главный архивист желает видеть Леонарда Грея в своем кабинете. Нейтральный язык не скрывал подтекста — исход разговора уже предрешен.

Кабинет главного архивиста располагался на верхнем этаже центральной башни. Из окон открывался весь портовый город — доки, где торговые суда выгружали тюки связанной памяти; промышленные районы, где чернила кипели в гигантских чанах, дистиллируя человеческие эмоции в химические соединения; жилые кварталы, где люди громоздились друг на друга, как страницы в небрежно переплетенном томе. А выше всего, пронзая промышленный дым, вздымались шпили храмов Ордена — острые, надменные, вечные.

Эдрем сидел за столом из древнего дуба — ни царапины, ни пятнышка, столешница человека, который либо ухаживает за вещами с религиозным рвением, либо давно отказался от всего человеческого. Последние годы наставник не встречался взглядом с Лео, соблюдая архивную традицию: личная привязанность компрометирует объективность. Но сегодня, когда Лео вошел, Эдрем снял очки для чтения и посмотрел на него — прямо, в упор.

В этом взгляде было все, что слова еще не произнесли: разговор уже закончен. Решения приняты где-то наверху, в палатах, куда голос Лео не достигает. Эдрем вызвал его лишь затем, чтобы сообщить о приговоре.

— *Вы проводили несанкционированные эксперименты,* —

сказал он без всяких вступлений.

Инстинкт толкал Лео защищаться — объяснить методологию, сослаться на регламент, обосновать свою роль. Но он промолчал. Институциональное сопротивление сейчас только ускорит развязку, а молчание создает хотя бы видимость соучастия.

— *Я также получил отчеты,* — продолжил Эдрем, и под бюрократической сухостью прорезалась искренняя, глубокая печаль, — *что вас видели с элементами из нижних кварталов. Уличные люди. Лица, связанные с нелегальными игровыми клубами.*

Слова ударили под дых. Не вина за сделанное — страх от разоблачения. Стена, которую он выстраивал между тайной работой и официальной ролью, рухнула в один миг. Наблюдательный аппарат города работал с такой полнотой, о которой он не подозревал.

— *Мои исследования требовали кросс-референцирования с устными историями,* — попытался Лео. — *Нелегальное игровое сообщество сохраняет записи традиционной шахматной нотации, предшествующей стандартизации Конклава. Я предположил, что аномалии могут коррелировать с...*

— *Убеждения не являются данными,* — прервал его Эдрем, и в этом перебивании было не раздражение, а разочарование. Глубокое, отеческое. — *Вас учили лучшие. Архив функционирует через приверженность процедуре. Отклоне-*

ние от процедуры есть отклонение от самой истины. Это не философия. Это механизм выживания.

Лео хотел возразить, что истина существует вне процедур. Что дрожащие пузырьки — это реальность, которую формальные системы Архива не вмещают. Что мелодия, которую он слышал, — не галлюцинация и не дефект, а нечто живое, рвущееся сквозь ткань привычного мира. Но он увидел в лице Эдрема то, чего не замечал раньше: накопленный вес давления сверху, невозможное положение наставника, принужденного к соучастию в подавлении собственного ученика.

Эдрем поднялся из-за стола и отошел к окну, повернувшись спиной — жест, сохраняющий дистанцию, облегчающий трудный разговор. За окном догорал закат, и шпили Ордена казались черными иглами на фоне багрового неба.

— Вы передадите ваши личные исследовательские материалы на проверку. Доступ к конфиденциальным документам приостанавливается до завершения расследования. Вы прекратите все контакты с неавторизованными лицами.

Пауза. Долгая, тяжелая. Эдрем стоял неподвижно, и в этой неподвижности что-то боролось — институциональная лояльность всей его жизни против личной связи, выкованной за девять лет терпеливого наставничества.

— Орден еще не поднял на вас руку, Лео, — произнес он тихо. *— Но они наблюдают. Они всегда наблюдают. Если вы продолжите этот путь... я не смогу вас защитить.*

Слово «ещё» повисло в воздухе — временная граница, отделяющая настоящее от того необратимого будущего, где выборы становятся приговорами.

— *Я защищал тебя столько лет, сколько мог, —* сказал он, и голос его стал таким тихим, что Лео пришлось напрячь слух. — *Я продвигал тебя по рангам, потому что видел в тебе нечто редкое. Не просто способность работать с текстами — способность слышать то, что хотели сказать авторы хроник. Это редкость среди новых архивистов. Они приходят уже обученные слепоте. Они готовы видеть только то, что им разрешили.*

— *Но эта способность слышать — теперь опасна. Мир, в котором мы живем, построен на молчании. На молчании архивистов. На молчании рабочих с чернильных фабрик. На молчании игроков из подпольных клубов. Система требует этого молчания, как организм требует крови. И когда один голос начинает кричать — даже мягко, даже шепотом, как у тебя, — вся структура должна ответить. Обезглавить источник.*

Он помолчал.

— *Мне отдали приказ, —* продолжил Эдрем, и каждое слово давалось ему с усилием. — *Орден потребовал, чтобы я сообщил о твоей работе. Чтобы я подписал документы, прекращающие твой допуск. Чтобы я назвал имена — других архивистов, которые могут сочувствовать твоему исследованию. Я должен был превратить тебя из ученика в*

проблему.

Он замолчал, глядя в стол. Потом поднял глаза — и Лео увидел в них пустоту. Страшную, бездонную пустоту человека, который уже всё решил и теперь только проговаривает вслух то, что сделал.

— Я подписал. Назвал. Переделал твое досье. На бумаге я теперь враг тебе, Лео. И я сожалею об этом — так глубоко, как только способен сожалеть человек, у которого почти не осталось времени на искупление.

Тишина в кабинете стала невыносимой. Лео смотрел на своего наставника и чувствовал странную эмоцию — не гнев, не обиду, а горькое понимание. Эдрем предал его не из страха за себя. Он предал его из необходимости выживать в системе, где правда опаснее лжи.

— Ты помнишь свой первый день в Архиве? — вдруг спросил Эдрем, не оборачиваясь.

Лео помнил. Он вошел в хранилище и замер, как перед алтарем. Пахло кожей и временем. Эдрем — тогда еще не старый, только седеющий — протянул ему фолиант 1847 года и сказал: *«Не читай глазами. Читай руками»*. Лео тогда не понял, что это значит. Понял позже, много позже, когда пальцы сами научились чувствовать текстуру чернил, плотность бумаги, возраст записи. Когда он понял, что хроники — это не просто тексты. Это отпечатки сознаний. Живые слепки памяти.

— Ты дал мне фолиант и сказал: «Не читай глазами. Чи-

тай руками», — ответил Лео.

Эдрем кивнул, все так же глядя в окно. Плечи его опустились.

— Вот руками ты все и прочитал. То, что нам запрещали видеть. — Он помолчал. — Я гордился тобой. И боялся за тебя. И вот теперь оба чувства нашли свое завершение.

— Что мне делать? — спросил Лео.

Это уже не было запросом информации. Это была мольба — о направлении, о последнем совете от того, кто был ему ближе отца.

Эдрем снял очки, протер их платком. Пальцы, всегда такие твердые, заметно дрожали.

— Ты должен покинуть Архив. У тебя есть сорок восемь часов. Я не дам приказа искать тебя раньше, чем они истекут. Это всё, что я могу сделать. Всё, что у меня осталось. Используй это.

Лео покинул кабинет без громких слов, без жестов прощания. Учетные данные его были формально чисты, но свобода уже сжалась до размеров песочных часов. Спускаясь по спиральной лестнице, он слышал, как вокруг вращаются механизмы — не только шестерни и поршни, но что-то тоньше. Файлы, которые дополняли в архивных записях. Примечания, которые вносили в его трудовой договор. Разговоры в административных палатах, где его имя превратили в проблему, требующую решения.

За девять лет осторожного служения он построил себе ре-

путацию безупречного архивиста. Она рухнула за три дня. И странное дело — вместе с ней рухнуло что-то еще. Какая-то внутренняя стена, которую он сам возводил годами. Страх остался, но в трещинах страха прорастало что-то новое. Что-то, чему он пока не знал названия.

Ночь опустилась на город быстро, по-осеннему. Лео брел через районы, которых не было на официальных картах, — узкие переулки, где фонари не горели вовсе; проходные дворы, заваленные промышленным мусором; подворотни, пропахшие дешевым табаком и машинным маслом. Ветер с залива нес запах соли и ржавчины. Мелок в его кармане пульсировал, задавая ритм шагам, — или это только казалось? Тело знало дорогу лучше, чем разум. Ноги сами несли его через лабиринт нижних кварталов, сворачивали в неприметные арки, спускались по стертým ступеням.

Он остановился перед дверью, выкрашенной в цвет запекшейся крови. Не помнил, как нашел ее. Не помнил, сколько кругов нарезал по городу, прежде чем здесь оказаться. Но когда его кулак отбил дробь — сложный ритм, которого он никогда не учил сознательно, — дверь распахнулась беззвучно.

Внутри гудела жизнью огромная подвальная зала. Подпольный игровой клуб.

Шахматные доски стояли повсюду — на грубых столах, на перевернутых ящиках, прямо на каменном полу. Фигуры

двигались в сложных, стремительных танцах, древних, как сам город. Дым от трубок слоился под низким потолком, и лица игроков проступали сквозь него, как призраки. Пахло дешевым табаком, пивом и мелом — тем самым мелом, каким наносят схемы нелегальных партий.

Лео шел между столами, и его не окликали, не останавливали — словно ждали. Словно здесь знали, что он придет.

В дальнем углу, там, где свет масляной лампы почти не доставал, сидела Ши.

Она напевала ту же мелодию, что и в архиве, но теперь в ней появилось что-то новое — мощь, которой не было три ночи назад. Мелодия разрослась, обрела плоть, пустила корни. Одежда Ши была в чернильных пятнах, волосы спутаны, но глаза горели внутренним огнем, какого Лео никогда не видел ни у кого из официальных архивистов. Так горит пламя в печи, которую не гасили много лет.

— *Ты пришел,* — сказала она, не оборачиваясь. Будто знала. Будто слышала его шаги еще за квартал отсюда.

— *Архив меня отметил,* — глухо ответил Лео, опускаясь на скамью рядом с ней.

— *Знаю.* — Теперь она повернулась, и их взгляды встретились. — *Орден приходил в клубы в эти три дня. Спрашивали о тебе. Спрашивали о мелодии.*

— *О мелодии?*

— *О той, что я напевала тебе в архиве.* — Она усмехнулась уголком губ.

— Они не понимают, что это не просто звуки. Что от нее нельзя избавиться, заткнув уши. Она — как зараза. Распространяется. Пока ты сидел в своей камере и измерял дрожание, мы здесь делали то же самое — но иначе.

Лео обвел взглядом зал. Игроки двигали фигуры, и в их движениях он увидел закономерность. Одни и те же ходы. На десятках досок одновременно. Та же последовательность, что он записал в блокноте. Та же, что была в фолианте.

— *Это Партия*, — сказал он вслух, и слово прозвучало весомо, как удар колокола. Не мелодия — Мелодия была голосом Ши, ее способом слышать. А Партия — это структура. Логика. Последовательность, которую можно записать, проанализировать, продолжить.

Ши посмотрела на него с интересом.

— *Партия*, — повторила она, пробуя слово на вкус. — Да. Мой отец называл это *Партией*. Он говорил, что мы все — фигуры на доске, но кто-то должен увидеть всю игру целиком. Увидеть и доиграть.

— Как это распространилось? — спросил Лео. — Как *Партия* попала сюда?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.